

Мария Александрова, Леонид Большухин

Двойничество в контексте «пушкинского мифа» Гоголя

Гоголь был лгун.
Ю.М. Лотман

Однажды Гоголь переоделся Пушкиным...
Из анекдотов, приписываемых Даниилу Хармсу

В истории осмысления сложнейшей проблемы «Пушкин и Гоголь» отчетливо обозначился новый этап. Мифологизирующий характер гоголевских высказываний о роли Пушкина в его судьбе отмечен давно, но (как сформулировано С.Г. Бочаровым) «важнее фактической точности» была для исследователей другая сторона мемуарных и квазимемуарных свидетельств: «потребность в пушкинском фоне, на котором творчество Гоголя сознавало себя»; «установление связи, большого соотношения, определяющего путь русской литературы» как «исторический смысл этой „творимой легенды“»¹. В последнее время назрела необходимость исследовать сам механизм гоголевского мифотворчества, уточнить представления о его содержании и целях.

Общепризнано, что активная стадия гоголевского самоопределения по отношению к Пушкину приходится на вторую половину 1830-х – первую половину 1840-х годов². «Пушкинская мысль» Гоголя в *Мертвых душах* и *Выбранных местах из переписки с друзьями* кажется выраженной вполне определенно: оппозиция двух типов писателя в VII главе поэмы – иносказание прозрачное, а в поздней публицистике художник, «мешая исповедь с проповедью»³, сознательно стремится к «прямоговорию». Ситуация представляется нам более сложной. Попытка соединить слово исповедальное и слово проповедническое предпринята Гоголем еще в главе о Плюшкине; именно здесь, как будет показано далее, подспудно накапливаются его претензии к Пушкину. Полемический подтекст VI главы усиливает двусмысленность

¹ С.Г. Бочаров, *О стиле Гоголя*, [в:] *Типология стилевого развития нового времени*, Москва 1976, с. 414–415.

² И.П. Золотусский, *Пушкин в «Выбранных местах из переписки с друзьями»*, [в:] *Последняя книга Гоголя: Сб. статей и материалов*, Изд-во «Русский путь», Москва 2010, с. 319–320.

³ См. там же, с. 318.

похвал, расточаемых «великому всемирному писателю» в главе VII: поклонение Пушкину как литературному «богу» («Всё, рукоплеща, несется [...] за торжественной его колесницей. [...] Нет равного ему в силе – он бог!»⁴) отзывается „сотворением кумира”, и этот языческий кумир – неизбежное препятствие на жертвенном пути художника-пророка, облеченного свыше «чудной властью».

Невозможность открыто выговорить такие смыслы подтверждена известными самооправданиями Гоголя в *Четырех письмах к разным лицам по поводу «Мертвых душ»*: «Все места, где ни заикнулся я неопределенно о писателе, были отнесены на мой счет; я краснел даже от изъяснений их в мою пользу» (VIII, 288). Гоголь был обречен изъясняться «лукаво» всякий раз, когда речь заходила о самых важных и, следовательно, самых болезненных коллизиях его творческой судьбы, которую он сам дерзновенно освятил именем Пушкина. Двойничество – традиционный литературный прием, позволяющий эстетически разрешать подобного рода проблемы, и Гоголь использует этот спасительный ход не только в поэме, но и в публицистике.

Характеризуя интонационно-стилевой диапазон повествующего голоса в I томе *Мертвых душ*, Е.А. Смирнова полагает, что «говорить здесь следует не просто о разных интонациях, а о разных голосах *конкретных русских авторов*» – заочных собеседников Гоголя⁵. Взгляд на гоголевскую поэму как «сниженный и окарикатуренный вариант *Евгения Онегина*» позволяет представить «за этой карикатурой черты пушкинских персонажей» – тот самый идеал, который должно угадывать (согласно авторскому наставлению в *Выбранных местах...*) под личиной любого «урода»: «Ведь Гоголь видел в героях *Онегина* перевоплощение личности самого поэта, а эту личность он считал тем идеалом, которого русский человек в процессе своего развития сможет достичь лишь через двести лет»⁶. Это осторожное, научно корректное допущение наглядно контрастирует с подходом, который стал популярным в последнее десятилетие: *Мертвые души* читаются сегодня как «текст с ключом». Когда образы гоголевской поэмы стали попросту расшифровать, отыскивая прототипы Манилова, Коробочки, Ноздрева, Собакевича и Плюшкина среди современных Гоголю писателей, результатом явилась картина крайне упрощенная, зачастую не отвечающая никаким критериям научной интерпретации. «Криптографы»⁷ всецело доверились поздним автокомментариям Гоголя

⁴ Н.В. Гоголь, *Полное собрание сочинений в 14 томах*, Изд-во АН СССР, Москва, 1937–1952, т. VI, с. 133. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи в скобках с указанием тома римской цифрой, страницы – арабской. Курсив в цитатах везде принадлежит авторам статьи.

⁵ Е.А. Смирнова, *Поэма Гоголя «Мертвые души»*, Изд-во «Наука», Ленинград 1987, с. 78.

⁶ Там же, с. 123.

⁷ Ф.Н. Двинятин, *О литературном подтексте в характерологии первого тома «Мертвых душ» Гоголя*, [в:] *Канадский колледж: Сборник статей*, Изд-во Санкт-Петербургского университета, Санкт-Петербург 2000, с. 153–161; И.А. Виноградов, *Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души»: Проблемы интерпретации и текстологии*. Диссертация на соискание степени доктора филологических наук, Москва 2003; А.А. Кораблев, *Криптография «Мертвых душ»*, «Радуга» (Киев) 2009, № 8, с. 103–131, № 9, с. 131–147, № 10, с. 115–140.

в *Четырех письмах к разным лицам по поводу "Мертвых душ"*: «Эти ничтожные люди, однако ж, ничуть не портреты с ничтожных людей... Тут, кроме моих собственных, есть даже черты многих моих приятелей...» (VIII, 294). Была проигнорирована как установка Гоголя на творческую мифологизацию реальности (например: «Пушкин, который так знал Россию, не заметил, что всё это карикатура и моя собственная выдумка» (VIII, 294)), так и характерные для *Выбранных мест...* литературные и окололитературные мистификации⁸. Главное же заключается в том, что поэтика Гоголя сопротивляется любому прямолинейному прочтению. Версия о Плюшкине как своеобразной пародии на Пушкина предстала столь неубедительной, что фактически дискредитировала реально существующую проблему.

В системе соответствий между *Евгением Онегиным* и *Мертвыми душами*, описанной Е.А. Смирновой, не нашла места переключки двух лирических отступлений на тему прощания с молодостью: у Гоголя это зачин VI главы, у Пушкина финал VI главы (совпадение нумерации можно рассматривать как случайность, имеющую вторичный символический характер). Чрезвычайно важно, что уже в начале главы о Плюшкине – в «сильной позиции» – актуализирован диалог Гоголя с Пушкиным. Узнаванию претекста способствует характерная разработка элегической топики, переключающая мысль о человеческой бренности в сферу проблем личности творческой, противостоящей энтропии в силу своего призвания. Сравним: «Прежде, давно, в лета моей юности... мне было весело подъезжать в первый раз к незнакомому месту... Теперь равнодушно подъезжаю ко всякой незнакомой деревне и равнодушно гляжу на её пошлую наружность; моему охлаждённому взору неприятно, мне не смешно, и то, что пробудило бы в прежние годы живое движение в лице, смех и немолчные речи, то скользит теперь мимо, и безучастное молчание хранят мои недвижные уста. О моя юность! о моя свежесть!» (VI, 110–111); «Так, полдень мой настал, и нужно // Мне в том сознаться, вижу я. // Но так и быть: простимся дружно, // О юность лёгкая моя! // Благодарю за наслажденья, // За грусть, за милые мученья, // За шум, за бури, за пиры, // За все, за все твои дары; // Благодарю тебя. Тобою, // Среди тревог и в тишине, // Я наслаждался... и вполне; // Довольно! С ясною душою // Пускаюсь ныне в новый путь // От жизни прошлой отдохнуть. [...] А ты, младое вдохновенье, // Волнуй моё воображенье, // Дремоту сердца оживляй, // В мой угол чаще прилетай, // Не дай остыть душе поэта, // Ожесточиться, очерстветь, // И наконец окаменеть // В мертвящем упоенье света, // В сем омуте, где с вами я //купаюсь, милые друзья!»⁹

На фоне сходной структурно-тематической организации двух монологов особенно очевидно, что перед нами глубоко различные, мощно

⁸ История одной из связанных с Пушкиным мистификаций в контексте литературной стратегии автора *Выбранных мест из переписки с друзьями* подробно освещена в статье: А.А. Кибальник, *Почему Гоголь «открыл тайну» пушкинского стихотворения «С Гомером долго ты беседовал один?»*, [в:] *Восьмье Гоголевские чтения. Н.В. Гоголь и его литературное окружение*, Изд-во АНО «Фестпартнер», Москва 2009, с. 120–135.

⁹ А.С. Пушкин, *Полное собрание сочинений: В 10 т.*, Изд-во АН СССР, Москва 1956–1958, т. V, с. 138–139.

противостоящие друг другу художественно-философские идеи. Пушкинская концепция предполагает естественное пластическое изменение человека с возрастом, готовность и к зрелости и старости; вечно «младым» остается только вдохновение. Но в *Отрывках из „Путешествия Онегина“* меняется также предмет и характер вдохновения: «Смирились вы, моей весны // Высокопарные мечтанья, // И в поэтический бокал // Воды я много подмешал. // Иные нужны мне картины... // Мой идеал теперь – хозяйка, // Мои желанья – покой...»¹⁰. Напротив, для Гоголя идеал сопряжен исключительно с молодостью; юность – не столько возраст, сколько незабываемый центр личности, который необходимо сохранить вопреки всему. Акцент сделан на творческой отзывчивости – даре, изменяющем художнику вместе с утратой юности: источник впечатлений (в отличие от пушкинского) неизменен, но с некоторых пор он предстает «взору охлажденному», увиденное в жизненных странствиях оставляет уста «недвижными».

Непосредственным продолжением этой мысли служит образ старческого одеревенения в кульминационном лирическом монологе VI главы:

И до такой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек! Мог так измениться! И похоже это на правду? Всё похоже на правду, всё может статься с человеком. Нынешний же пламенный юноша отскочил бы с ужасом, если бы показали ему его же портрет в старости. Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом! Грозна, страшна грядущая впереди старость, и ничего не отдает назад и обратно! Могила милосерднее ее, на могиле напишется: «Здесь погребен человек!», но ничего не прочитаешь в холодных, бесчувственных чертах бесчеловечной старости (VI, 127).

В пафосе неприятия старости – вызов всей пушкинской концепции человеческой жизни. Старость предстает у Гоголя олицетворенной в Плюшкине, а это единственный персонаж первого тома, с которым у автора, по замечанию В.Н. Топорова, есть «личное соучастие»¹¹; показательно, что черта лирического автопортрета – прежнее «живое движение в лице» и его нынешняя утрата – так явно откликается в мотиве застывающего неподвижно, бесчувственного лица Плюшкина. Хотя в *Выбранных местах...* Гоголь настаивал, что все его персонажи созданы «из души» («Герои мои еще не отделились вполне от меня самого» (VIII, 295)), Плюшкин в ряду таких авторских «реинкарнаций» занимает особое место. По справедливому замечанию В.Н. Топорова, Плюшкина нельзя считать воплощением скупости, в отличие от других персонажей, чьи имена стали нарицательными для обозначения соответствующих «пороков». Несомненно также, что Плюшкин служит отнюдь не только поводом для развертывания темы старости и назидательных обращений к читателю.

Пушкинские подтексты этого образа менее всего поддаются аллегорическому прочтению: Гоголь не оставляет возможности наблюдать

¹⁰ См. там же, с. 203.

¹¹ В.Н. Топоров, *Апология Плюшкина*, [в:] Топоров В.Н. *Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического*, Издательская группа «Прогресс» – «Культура», Москва 1995, с. 43.

«грубоощутительную правильность и нищенские прорехи, сквозь которые проглядывает нескрытый, нагой план» (VI, 113). Описание сада в VI главе – важнейший авторский метатекст¹², позволяющий судить об общих принципах смыслообразования в поэме. Проекция отдельных слагаемых этой картины на характеристику Плюшкина не раз отмечались; так, пространственные «зияния» в глубине зеленых чащ и умозрительные «нищенские прорехи» перекликаются, в силу композиционной близости, с элементом другого уровня – комической «прорехою» ниже запачканной мукой спины, а суммирование материального ущерба (всё в хозяйстве «становилось гниль и прореха») перерастает в метафорическое обобщение: «...и сам он обратился наконец в какую-то прореху на человечестве» (VI, 119). Конкретная деталь «заражается» соседствующими смыслами, частное получает свойства универсального; формируются связи, не поддающиеся логической расшифровке, но делающие наглядным единство эстетического, предметно-материального, этико-философского планов. Этому закону гоголевской поэтики подчиняется и отбрасываемая Плюшкиным «пушкинская тень».

Созвучие фамилий не могло быть случайным в мире Гоголя, где «низкие» персонажи регулярно выступают двойниками великих творцов: достаточно вспомнить сапожников *Шиллера* и *Гофмана* в *Невском проспекте*, а также петербургского приятеля Хлестакова, литератора *Тряпичкина*, который, согласно убедительной трактовке А.Д. Синявского, аллюзирует пушкинский комический псевдоним *Феофилакт Косичкин*¹³; ситуация «с Пушкиным на дружеской ноге» тем самым дублируется. После Ревизора Пушкин не появляется в художественном мире Гоголя открыто, но место для его профанного бытия словно бы подготовлено. В ряду литературно-пародийных имен гоголевских персонажей получает оправдание и один из аргументов «криптографического» прочтения: Ф.Н. Двинягин отметил, что в VI главе Гоголь с особой настойчивостью повторяет имя дочери Плюшкина – *Александра Степановна*, составляя таким образом пушкинский тройной инициал *А.С.П.* Внешний «маркер» связи между Пушкиным и Плюшкиным еще не характеризует существо парадоксального отражения высокого в низком. О природе этой связи в большей степени свидетельствует сама структура образа Плюшкина – или того, «кто обозначен как Плюшкин»¹⁴.

В.Н. Топоров предложил заново всмотреться в эволюцию персонажа: «Строго говоря, в нем не было черт, которые давали бы основание думать, что с возрастом они превратятся в недостатки... при н о р м а л ь н о м (уже не говоря о благополучном) ходе жизни, более того, даже при неудачном, но не столь тотальном, направлении ее Плюшкин сохранил бы положительность своего характера и достойно, не теряя человеческих черт, продолжал бы свою жизнь. Но суть дела как раз и состояла в том, что неудач было много, они шли

¹² См. об этом: Е.Е. Дмитриева, *Сад Плюшкина, Сад Гоголя*, [в:] *Поэтика русской литературы: К 70-летию проф. Ю.В. Манна: Сб. статей*, Изд-во «Российский государственный гуманитарный университет», Москва 2001, с. 148–160.

¹³ Абрам Терц (А.Д. Синявский), *Путешествие на Черную речку и другие произведения*, Изд-во «Захаров», Москва 1999, с. 425.

¹⁴ Топоров В.Н., *Апология Плюшкина*, [в:] *Топоров В.Н. Миф. Ритуал...*, с. 43.

по нарастающей, носили тяжелый характер...»¹⁵. Установка на «апологию Плюшкина» не позволяет автору статьи признать, что Гоголь рисует всё же о б ы к н о в е н н о е жизненное попроще с у с т р а ш а ю щ и м финалом. Если неподвижность (свойство других персонажей I тома, исключая Чичикова) трактуется Гоголем однозначно, выступая синонимом мертвенности, то динамическое начало предстает амбивалентным и загадочным. Поэтому «всё может стать с человеком» на самых обычных путях.

Тем не менее «спор» В.Н. Топорова с авторской концепцией Плюшкина оказался продуктивен во многих отношениях. Настаивая, что «за беспорядком, запущенностью и несколько нарочито подчеркиваемой ничтожностью “среды обитания” Плюшкина угадывается образ некогда достойной, органической, разумной жизни, предполагающей и ум, и чувства, и вкус» у хозяина «странного замка», его «житейские волнения, тревоги, радости»¹⁶, В.Н. Топоров невольно – и потому вполне объективно – засвидетельствовал пушкинскую «норму» человеческого существования как полемический ориентир Гоголя. Отсутствие резкой эстетической границы между описанием ветхого дома Плюшкина и картиной сада позволяет апеллировать к традиционной поэтической теме «запустения», представленной в *Евгении Онегине* мечтами героини «всё отдать [...] за полку книг, за дикий сад, // За наше бедное жилище»¹⁷. Поэтому «“низкие” смыслы, реализуемые в описании “вещного” мира, оказываются при новом прочтении не такими уж “низкими”, а за тем хаосом, который бросается в глаза... начинается протупать своего рода “порядок”», заданный, в частности, содержанием старинного бюро: мелко исписанные бумажки, пресс, книга, письмо, сургуч, два пера «“сильнее” организуют тему “порядка”, нежели отломанная ручка кресел, рюмка, кусочек тряпки или зубочистка разрушают ее»; «в этом “порядке” можно уже заметить и некие знаки, намекающие на какую-то интимную и серьезную тему (письмо)»¹⁸. Этот «реконструированный» образ напоминает о пушкинском идеале усадебной жизни: «Деревня – мой кабинет». Примечательно, что письменные принадлежности здесь фигурируют вне зависимости от предстоящего персонажу оформления бумаг по купле-продаже мертвых душ¹⁹.

Все это позволяет соотносить Плюшкина с пушкинским «средним» – отнюдь не пошлым – человеком. Подмеченная В.Н. Топоровым «умышленность» авторского отношения к персонажу есть симптом другой «задней мысли»: рисуя бесчеловечную старость Плюшкина, Гоголь опровергает пушкинскую идею доверия к естественному ходу времени. Несомненно, гоголевское отношение распространяется и на пушкинскую концепцию художника, разделяющего с обыкновенными людьми их повседневную жизнь. Полемика Гоголя

¹⁵ Там же, с. 69.

¹⁶ См. там же, с. 59.

¹⁷ А.С. Пушкин, *Полное собрание сочинений...*, т. V, с. 189.

¹⁸ В.Н. Топоров, *Апология Плюшкина*, [в:] *Топоров В.Н. Миф. Ритуал...*, с. 60.

¹⁹ В трёх других эпизодах состоявшихся сделок все внимание сосредоточено на результате – переходящем в руки Чичикова списке крестьян, причем вместо Манилова пишет жена, выводя на бумаге и «каемочку», Коробочка диктует, Собакевич поворачивается к Чичикову спиной, чтобы незаметно вписать в реестр «бабу».

с Пушкиным мотивирована поиском собственной жизненной позиции: по мере создания поэмы все более очевидной становилась невозможность примирить «обыкновенный удел» и творческую миссию. Развертывание образа Плюшкина подспудно определяется брожением этой мысли, которая затем выводится «на поверхность» текста уже в более конкретном, тематически локальном виде.

Переход к монологу в начале VII главы подготовлен пушкинской аллюзией в конце главы VI (возвращение Чичикова от Плюшкина в город): «Изредка доходили до слуха его какие-то [...] восклицания... Словом, те слова, которые вдруг обдадут, как варом, какого-нибудь замечтавшегося двадцатилетнего юношу, когда, возвращаясь из театра, несет он в голове испанскую улицу, ночь, чудный женский образ с гитарой и кудрями...» (VI, 131). Хотя воспаривший «в небеса» юноша «к Шиллеру заехал в гости», Шиллер здесь – только знак экзальтации; сами же грезы навеяны пушкинской Испанией, *Каменным гостем*: нельзя не узнать Лауру, поющую под гитару для восторженных поклонников ее артистического дара.

В.Н. Топоровым отмечена переключка лирических монологов VI и VII глав: «“Счастлив путник... Счастлив семьянин... но горе холостяку... Счастлив писатель, который мимо характеров скучных... приближается к характерам, являющим высокое достоинство человека”. Этот фрагмент, подхватывая сходные, но более латентно присутствующие мысли отступления, с которого начинается глава шестая (“Прежде, давно, в лета моей юности...”) *выявляет* их еще рельефнее»²⁰. Вся система образов и мотивов, формирующих пушкинский подтекст VI главы, теперь кристаллизуется в образе «счастливого писателя» – по-прежнему неназванного, но узнаваемого Пушкина.

Примечательно, что подразумеваемый антипод Гоголя предстает разным: если в VI главе реализуется прогноз «обыкновенного удела», то в VII главе «счастливец» парит над обыденностью. Демонстрируются именно те качества, которые необходимы для самоопределения автора *Мертвых душ* на контрастном фоне; Пушкин оказывается, в известном отношении, предметом творческой манипуляции.

К пушкинской метафоре омута («в сем омуте, где с вами я...»), присутствующей в ассоциативном контексте полемической VI главы, восходит и целый ряд гоголевских образов, представляющих в VII главе отношения художника с жизнью. «Счастливый писатель» «из великого омута ежедневно вращающихся образов избрал одни немногие исключения» (VI, 133); его оппонент готов «разом и вдруг *окунуться в жизнь* [контекстуальный синоним *омута*] со всей ее беззвучной трескотней и бубенчиками...» (VI, 135).

Гоголь дает видимое противопоставление «счастливого писателя» и поэта-обличителя, одиноко проходящего свое поприще, обвиненного в низости «лицемерно-бесчувственным современным судом» (VI, 134). На глубинном смысловом уровне антитеза может быть прочитана иначе. «Счастливый писатель» посреди «семейства» собственных героев и благодарных читателей – плоть от плоти тех людей, которые добровольно ищут забвения от насущного в «прекрасном»; он истинный «бог» – но лишь среди тех, кто слишком слаб

²⁰ В.Н. Топоров, *Апология Плюшкина*, [в:] В.Н. Топоров, *Миф. Ритуал...*, с. 49.

для приятия некой последней истины. Безбоязненно окунуться в жизненный омут способен лишь тот, кто сверхчеловечен. В этом ключе сверхчеловеческого (пророческого) предназначения понимается и добровольная аскеза, бессемейность, заведомая непригодность для обычного существования. Потаенная логика Гоголя дает повод для следующего заключения. С читателем Пушкина «всё может случиться»: после высоких художественных наслаждений «вновь по-будничному пошла щеголять перед ним жизнь», и будничное непременно одолеет духовное. Читателям Гоголя предстоит иное перерождение, когда «грозная вьюга вдохновения подымется из облеченной в святой ужас и в блистанье главы и почуют в смущенном трепете величавый гром других речей...» (VI, 135).

Первый том *Мертвых душ* – текст «подвижный», обладающий принципиальной смысловой незавершенностью, открытостью. Отсюда потребность Гоголя вновь и вновь возвращаться к заветным идеям, ищущим адекватного выражения в слове. Проблему гоголевской автоинтерпретации не исчерпывают *Четыре письма к разным лицам по поводу “Мертвых душ”*, где миф о Пушкине как наставнике и вдохновителе предъявлен своей «лицевой» стороной. Многие высказывания в составе *Выбранных мест из переписки с друзьями*, как прямо отнесенные к *Мертвым душам*, так и решающие, по видимости, другие задачи, продолжают начатый на страницах поэмы мировоззренческий спор с Пушкиным. Гоголь зачастую воспроизводит сравнения и метафоры, уже послужившие ему ранее в «прикровенных» антипушкинских эпизодах; но теперь слово освобождается от художественной многозначности, и адресат полемики подчас обнаруживает себя вполне наглядно. С другой стороны, в *Выбранных местах...*, как показывает В.М. Маркович, особое значение получают мотивные связи, «образуемые повторами, вариациями, а также взаимотражениями структурно-смысловых единиц»; формируемые таким образом «мотивные смыслы выделены в гоголевском тексте своей специфической природой. [...] Автор их не формулирует и за их возникновение как бы не отвечает. Поэтому они формируются *более свободно*, чем смыслы декларируемые. [...] Можно предположить, что скрытое действие мотивного смыслообразования давало автору [...] какую-то важную для него возможность. По-видимому, это была возможность *окольно* выразить то, что он не решился или не сумел бы изложить *прямо*»²¹. Вопрос о Пушкине закономерно оказывается в сфере этого «окольного» изъяснения гоголевской позиции.

О преемственности с VI главой свидетельствует неожиданное, на первый взгляд, упоминание Плюшкина в наставительном письме к Языкову (*Предметы для лирического поэта в нынешнее время*), где воспроизведен знаковый комплекс образов:

Воззови, в виде лирического сильного воззвания, к прекрасному, но дремлющему человеку. *Брось ему с берега доску и закричи во весь голос, чтобы спасал свою бедную душу: уже далеко он от берега, уже несет и несет его ничтожная верхушка света, несут обеды, ноги плясавиц, ежедневное сонное опьянение; нечувствительно обле-*

²¹ В.М. Маркович, *О некоторых парадоксах книги Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями»*, [в:] *Проза Н.В. Гоголя. Поэтика нарратива: сб. статей*, Изд-во Санкт-Петербургского университета, Санкт-Петербург 2011, с. 208.

кается он плотью и стал уже весь плоть, и уже нет почти в нём души. Завопи воплем и выставь ему *ведьму старость*, к нему идущую, которая вся из железа, перед которой железо есть милосердьё, которая *ни крохи чувства не отдаёт назад и обратно*. О, если бы ты мог сказать ему то, что *должен сказать мой Плюшкин*, если доберусь до третьего тома «Мёртв[ых] душ!» (VIII, 280).

«Новый» Плюшкин способен изречь преображающее мир слово, поскольку, как сказано в частном письме к тому же адресату, спасителен «лиризм, стремящийся вперед не только одних поэтов, но и непоэтов»; такой лиризм возводит их в состояние, «доступное одним поэтам, и делая таким образом и непоэтов поэтами» (XII, 279). Предъявленный в качестве образца Языкову-пушкинианцу, колеблющемуся ступить на путь лирика-пророка, Плюшкин противопоставлен тем самым и Пушкину. Низкий двойник поэта превращается в его антипода, вознесенного на библейский уровень («и последние станут первыми»).

Вина Пушкина перед Языковым обнаруживает себя парадоксально. Обличая Языкова в утрате любви «к потребному и нужному душе» (VIII, 389), Гоголь как будто и не имеет в виду его великого «соблазителя», исполнявшего с любовью дело своей жизни. Однако антипушкинские интенции реализуются чрезвычайно последовательно.

В гоголеведении давно отмечено, что «лирическое воззвание» к человеку, тонущему в пучине житейской, продолжает лирическое отступление VI главы, вызванное недолгим «оживанием» Плюшкина: «...явление, подобное неожиданному появлению на поверхности вод утопающего, произведшему радостный крик в толпе, обступившей берег. Но напрасно обрадовавшиеся братья и сестры кидают с берега веревку и ждут, не мелькнет ли вновь спина или утомленные бореньем руки – явление было последнее. Глухо всё, и еще страшнее и пустынее становится после того затихнувшая поверхность безответной стихии» (VI, 126). Но в позднем тексте налицо и отчетливая, полемически усиленная переключка с пушкинской метафорой «мертвящего» погружения в обыденную жизнь света – омут, «где с вами я купаюсь, милые друзья». Гоголевское перечисление житейских соблазнов – «ноги плясавиц», гибельные «обеда» – это еще и предметы творчества Пушкина: соблазнительная «ножка Терпсихоры», пиршества, юмористически возведенные автором *Евгения Онегина* к гомеровскому образцу («И кстати я замечу в скобках, // Что речь веду в моих строфах // Я столь же часто о пирах, // О разных кушаньях и пробках, // Как ты, божественный Омир, // Ты, тридцати веков кумир!»²²). Пушкин в гоголевском понимании – поэт не лирический, а потому не знающий избирательности в своей творческой отзывчивости; двойственное освещение «соблазнов» повседневности в пушкинском мире не могло не мыслиться Гоголем как опасное для «прекрасного, но дремлющего человека».

Развитие языковской темы (*В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность*) вызывает настоящий отпор Пушкину: «Не по стопам Пушкина надлежало Языкову обрабатывать и округлять стих свой; не для элегий и антологических стихотворений, но для дифирамба и гимна родился он,

²² А.С. Пушкин, *Полное собрание сочинений...*, т. V, с. 115–116.

это слышали все. И уже скорее от Державина, чем от Пушкина, должен он засветить светильник свой» (VIII, 390). Используя далее знакомый по *Мертвым душам* контраст двух творческих типов, Гоголь уже вполне определенно устанавливает иерархию между ними: «Уделы поэтов *не равны*. Одному определено быть верным зеркалом и отголоском жизни – на то и дан ему многосторонний описательный талант. Другому повелено быть передовою, возбуждающею силой общества во всех его благородных и высших движениях – на то и дан ему лирический талант» (VIII, 390). «Описательный талант» (общее место литературной репутации Пушкина) дискредитирован на фоне прежних инвектив против «нечувствительного» подчинения человека «плоти».

Языков выступает как посредник в гоголевских прениях с Пушкиным, своего рода «подставное лицо» или двойник автора *Выбранных мест*. Дважды выстраивается поучительная версия биографии «другого», абсолютно совпадающая с моделью автобиографии Гоголя: в виде прямого обращения к Языкову, который стихотворением *Землетрясение* дал повод «открыть тайну музыки» (*Предметы для лирического поэта в нынешнее время*), и в форме рассуждения с позиции всеведения (*В чем же, наконец, существо русской поэзии...*). Акцентировано яркое начало творческого пути, раннее осознание своей поэтической силы. Самоощущение Гоголя, выраженное им в XI главе *Мертвых душ* («...всё обратило на меня полные ожидания очи»), прокомментированное во 2-м из *Четырех писем к разным лицам...*, переносится на будущего пророка: «Всех глаза устремились на Языкова» (VIII, 388). Болезнь поэта толкуется как испытание и средство «к ускоренью дела» (VIII, 389), упадок духа – как следствие неверно истолкованного самим художником высшего промысла. Биографические построения расходятся лишь в одном; «искушение Пушкиным» целиком приписано двойнику, как если бы никогда самим Гоголем (автором статьи *Борис Годунов. Поэма Пушкина*) не было высказано мечтание «прочитать в другом [в Пушкине] повторение всего себя» (VIII, 151). И, разумеется, утаено «преодоление Пушкина» через пародийные образы *Ревизора* и *Мертвых душ*.

Тем не менее симптомы этого «многоступенчатого» двойничества проступают в тексте. Если в VI главе поэмы Плюшкин отбрасывал «пушкинскую тень», то в *Выбранных местах...* можно наблюдать обратный эффект. Гоголь пишет о «расточительности» Пушкина, который откликнулся на всё в мире: «Что ж было предметом его поэзии? Всё стало ее предметом и ничто в особенности. Немеет мысль перед бесчисленностью его предметов» (VIII, 380). Фиксируется «отдельность» каждого творческого жеста Пушкина: «Как ему говорить было о чем-нибудь, потребном современному обществу в его современную минуту, когда хотелось откликнуться *на всё*, что ни есть в мире, и когда *всякий предмет равно звал его?*» (VIII, 383). Именно эта «расточительность» оборачивается ущербом: «Влияние Пушкина, как поэта, на общество было *ничтожно*», а влияние на поэтов – несомненно, но: «Сила возбудительного влияния Пушкина даже повредила многим», в особенности Языкову (VIII, 385, 386). Парадоксальное единство «накопления-расточения» заставляет вспомнить о куче Плюшкина, функция которой в VI главе не сводилась к представлению распавшейся, дефрагментированной материальной жизни: бесполезное «богатство» возникло в результате упорных, сознательных, едва ли не

самоотверженных усилий персонажа заново собрать вокруг себя мир; *куча* – новая целостность, лишенная разумного оправдания. На этом фоне по-особому двусмысленно звучат похвалы бесчисленности творческих «предметов» Пушкина; ведь вопрос о цели деятельности в мире Гоголя адресуется всем – великим и малым. Продолжим сопоставление: «Все сочинения его – *полный арсенал* орудий поэта. Ступай туда, выбирай себе всяк по руке любое и выходи с ним на битву; но сам поэт на битву с ним не вышел» (VIII, 382).

Высокий стиль рассуждения о Пушкине исключает употребление общезыковой метафоры *кучи* со специфическими для Гоголя коннотациями: множество, изобилие, пропадающее без пользы; эти смыслы вытеснены в подтекст²³. Соответственно, нельзя, казалось бы, провести прямую параллель между «мудрой скупостью» Плюшкина, служившей некогда основанием его гармонически уравновешенного бытия, и такими характеристиками Пушкина: «Никто из наших поэтов не был еще *так скуп* на слова и выраженья, как Пушкин, *так не смотрел осторожно* за самим собой, чтобы *не сказать неумеренного и лишнего*» (VIII, 380). Но качество равновесия, меры – во всех его проявлениях – несовместимо с гоголевским упованием на спасение человечества ценой сверхъестественного духовного усилия.

Потаенный трагизм «пушкинского мифа» Гоголя обусловлен грандиозностью представшего ему выбора: «Пушкин и Божественное предначертание несут при Гоголе одинаковые функции. Они на положении “или – или” в борьбе за “душу Гоголя”»²⁴. Пушкин присутствует в сознании Гоголя как явление, которое необходимо преодолеть или, согласно категоричной формуле С.М. Эйзенштейна, «уничтожить»: «...“боготворимый” уничтожается, и пустое место его замещается “кем-то незримым” – самим Господом Богом»²⁵. В мире Гоголя любой значимый образ в конечном счете обретает своего двойника, и процесс «дробления» сакрального целого знает лишь один предел, за который создатель этих двойников преступить не смеет. Внутренний императив позднего Гоголя обязал его принести в жертву того, кто изначально (в статье о «Борисе Годунове») был провозглашен «идеальным другом» («Возьмите, возьмите от меня все... и ниспослите мне это понимающее меня существо!» (VIII, 151–152)), с кем только и желал бы он вести диалог на равных; в одиночестве была утрачена одна из важнейших предпосылок творчества.

²³ Ср. также финал статьи: «*Еще ни в ком* [т.е. и не в Пушкине] не отразилась вполне та *многосторонняя поэтическая полнота* ума нашего, которая заключена в наших многоочитых пословицах, умевших сделать такие великие выводы из бедного, ничтожного своего времени, где в таких тесных пределах и в такой *мутной луже* [вариация на тему *омута*] изворачивался русский человек, и которые говорят только о том, какие огромные выводы может сделать нынешний русский человек из нынешнего широкого времени, в которое нанесены итоги всех веков и, как неразобранный товар, *сброшены в одну беспорядочную кучу*». И далее: «Всё это еще орудия, еще материалы, еще глыбы, еще в руде дорогие металлы, из которых выкуется иная, сильнейшая речь» (VIII, 408).

²⁴ С.М. Эйзенштейн, «*Борис Годунов*» и «*Ревизор*», [в:] *Гоголь в русской критике: Антология*, Изд-во «Фортуна Эл», Москва 2008, с. 474.

²⁵ Там же, с. 477.

Литература

- Абрам Терц (Синявский А.Д.), *Путешествие на Черную речку и другие произведения*, Изд-во «Захаров», Москва 1999.
- Бочаров С.Г., *О стиле Гоголя*, [в:] *Типология стилевого развития нового времени*, Москва 1976, с. 409–446.
- Виноградов И.А., *Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души»: Проблемы интерпретации и текстологии*. Диссертация на соискание степени доктора филологических наук, Москва 2003.
- Гоголь Н.В., *Полное собрание сочинений в 14 томах*, Изд-во АН СССР, Москва 1937–1952.
- Двинятин Ф.Н., *О литературном подтексте в характерологии первого тома «Мертвых душ» Гоголя*, [в:] *Канадский колледж: Сборник статей*, Изд-во Санкт-Петербургского университета, Санкт-Петербург 2000, с. 153–161.
- Дмитриева Е.Е., *Сад Плюшкина, Сад Гоголя*, [в:] *Поэтика русской литературы: К 70-летию проф. Ю.В. Манна: Сб. статей*, Изд-во «Российский государственный гуманитарный университет», Москва 2001, с. 148–160.
- Золотусский И.П., *Пушкин в «Выбранных местах из переписки с друзьями»*, [в:] *Последняя книга Гоголя: Сб. статей и материалов*, Изд-во «Русский путь», Москва 2010, с. 317–328.
- Кибальник С.А., *Почему Гоголь «открыл тайну» пушкинского стихотворения «С Гомером долго ты беседовал один?»*, [в:] *Восьмые Гоголевские чтения. Н.В. Гоголь и его литературное окружение*, Изд-во АНО «Фестпартнер», Москва 2009, с. 120–135.
- Кораблев А.А., *Криптография «Мертвых душ»*, «Радуга» (Киев) 2009, № 8, с. 103–131, № 9, с. 131–147, №10, с. 115–140.
- Маркович В.М., *О некоторых парадоксах книги Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями»*, [в:] *Проза Н.В. Гоголя. Поэтика нарратива: сб. статей*, Изд-во Санкт-Петербургского университета, Санкт-Петербург 2011, с. 207–219.
- Пушкин А.С., *Полное собрание сочинений: В 10 т.*, т. V, Изд-во АН СССР, Москва 1956–1958.
- Смирнова Е.А., *Поэма Гоголя «Мертвые души»*, Изд-во «Наука», Ленинград 1987.
- Топоров В.Н., *Апология Плюшкина*, [в:] *Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического*, Издательская группа «Прогресс» – «Культура», Москва 1995, с. 7–112.
- Эйзенштейн С.М., *«Борис Годунов» и «Ревизор»*, [в:] *Гоголь в русской критике: Антология*, Изд-во «Фортуна ЭЛ», Москва 2008, с. 455–483.

Двойничество в контексте «пушкинского мифа» Гоголя

Резюме

В статье рассматривается механизм создания Гоголем мифа о Пушкине в поэме *Мертвые души* и книге *Выбранные места из переписки с друзьями*. В шестой главе обнаружены многочисленные реминисценции пушкинских произведений. Деконструкция шестой главы выявляет наличие полемического биографического подтекста. Темой полемики становится вопрос о целях и задачах творчества. В шестой главе происходит дискредитация пушкинской концепции отношений между искусством и жизнью. Анализ книги *Выбранные места из переписки с друзьями* выявляет дальнейшую логику развития пушкинского мифа.

Ключевые слова: Гоголь, Пушкин, Языков, миф, интерпретация, реминисценция, подтекст, концепция творчества, двойник.

The Doubles in the Context of Pushkin's Myth in Works of Gogol

Abstract

The article discusses the mechanism of Gogol's creation of Pushkin's myth in the poem *The Dead Souls* and in the book *The selected passages from correspondence with friends*. A lot of reminiscence have been discovered in Chapter 6. The deconstruction of Chapter 6 reveals the presence of the polemical autobiographical overtones. The problem of goals and objectives of creative activity is in the center of the dispute. The discredit of Pushkin's conception of the relationships between life and literature occurs in Chapter 6. The analysis of the book *The selected passages from correspondence with friends* reveals the subsequent logic of the development of Pushkin's myth.

Key words: Gogol, Pushkin, Yazykov, myth, interpretation, reminiscence, subtext, the conception of creation, double.

Мария Александрова
Кандидат филологических наук
Нижегородский государственный лингвистический университет
им. Н.И. Добролюбова

Maria A. Alexandrova, Associate Professor
Nizhny Novgorod State Linguistic University
e-mail: nam-s-toboi@mail.ru
+79625132972

Леонид Большухин
Старший преподаватель
Национальный университет «Высшая школа экономики». Нижегородский кампус

Leonid U. Bolshuhin, Lector
National Research University "Higher School of Economic"
Nizhny Novgorod State Linguistic University
e-mail: lbolshukhin@mail.ru
+79030602398